

ВЕЧНО СТАРШИЙ БРАТ



РОДИНА - РОДНОЕ СУЩЕСТВО

Давно, еще в армейской юности, в ночной караульный час, я прочитал и выписал загадочные слова Блока: **“Родина - это огромное, родное дышащее существо, подобное человеку, но бесконечно более уютное и незащищенное, чем отдельный человек”**. Тогда, в середине 60-х, держава и мы, ее дети, гордились могуществом, а тут - “уютное существо”, да еще более незащищенное, чем отдельный человек, чем, выходит, даже я, солдат и начинающий поэт? Но слова эти заворожили...

Шли годы, удлинялись и усложнялись дороги по России, по ее историческим и духовным пространствам, мы пережили подобие возрождения державы - достижения в космосе, воспрянувшая литература, бум “Золотого кольца”, интереса к прошлому, потом - времена застоя и перестройки, предательскую смену политического строя и криминальную - экономической формации. На этом мучительном пути мне, увы, все глубже открывался глубинный смысл пророческой блоковской фразы. Пусть каждый толкует ее сам на основании личного духовного опыта.

Я - понимаю так. Мы можем окинуть мысленным взором всю огромную, разорванную страну, абстрактно представить или реально постичь ее гигантские размеры и не до конца растрченную мощь, мы вправе радоваться или ужасаться по поводу каких-то грандиозных событий, но согласимся, что нет ничего роднее и уютнее того, что произошло лично с нами, но в масштабах жизни страны, что приняла или выстрадала, влюбила наша душа, но в кипении общей жизни. Собственно, вот эта взаимосвязанность интимного и общего, почерпнутого и выстраданного - является (для русского человека особенно) уютным ощущением родины в личностном восприятии.

Но речь - не о первой части загадочной фразы, а об ее парадоксальной концовке - беспомощности родины, большей, чем беспомощность отдельного человека. С годами я осознал и ее. Отдельного человека можно унижить, оскорбить, даже физически уничтожить, но в нем до конца сохраняется “неоскорбляемая часть души” (выражение того же Блока), за ним всегда остается нравственный и волевой выбор, а над ним, даже атеистом - есть провидение. Хемингуэй повторял, что человека можно убить, но победить его нельзя. Так вот, Родина в блоковском понимании - более уязвима и незащищена. На личное оскорбление ты можешь дать отпор, вплоть до физического - по морде! - иным способом продемонстрировать понимание оскорбленной чести. Но когда оскорбляют твой личный, заветный, нежный и беспомощный образ Родины как родного дышащего существа - чем ты ответишь? Как поступишь? Будешь в ответ оскорблять, кричать на митинге, вступишь в ряды, как нынче пугают, экстремистских организаций?

У литератора хоть есть публичное слово, а любому другому - прокламации разбрасывать? Далеко не адекватный, не плодотворный, а для большинства - неприемлемый путь. Вот и получается, что оскорбленная бесцеремонной, а то и преступной властью, своими и чужими клеветниками Родина оказывается беззащитной, а лично каждый и огромное сообщество людей - уязвленными в самом дорогом, пусть порой не до конца осознаваемом, сердцевинном чувстве. Кто бы как ни оценивал новейшую историю России, следует признать, что миллионы наших соотечественников, особенно люди старшего поколения, испытали это чувство унижения и беспомощности: тот образ, который радостно и мучительно, в силу воспитания, личных порывов и под давлением обстоятельств складывался в их душах десятилетиями - рушился, публично оскорблялся, корыстно искажался во имя наживы и синоминутных политических целей. Главная драма заключалась именно в том, что искренние чувства глумливо, сознательно, всей мощью СМИ оскорблялись с циничным расчетом и корыстью. Или - единственное и слабое оправдание! - страстью к разрушению и недалекостью.

Помню, как в разгар перестройки друг Горбачева и активный деятель, потом окончательно сникший на политическом поприще - народный артист СССР Михаил Ульянов говорил во "Взгляде" с убедительной интонацией героя - мастера уговаривать из фильма "Председатель": "Стариков я понимаю, они свою жизнь зачеркнуть не могут...". Вот - ключевой глагол - зачеркнуть. Но зачем уничтожать, избывать свое прошлое, свою суть? - недаром же Чехов сказал: "Русский человек не живет, а вспоминает".

В сохранении этой памяти огромную роль играют семейные предания и страницы семейной славы. Её воплощением является для меня мой старший брат - сталинский сокол, Герой Советского Союза Николай Бобров. Он погиб за два года до моего рождения, но остался вечно старшим братом - образцом и главным судьей. Помню с раннего детства, что дома хранилась скромная казенная бумага о переименовании поселка на Карельском перешейке под Приозерском в Боброво. А стал он зваться, к моей гордости - Боброво, в честь старшего брата, павшего немного южнее, на Лемболовских высотах. Отчего-то никто из нашей семьи долго не мог побывать в этих краях — думаю теперь, потому, что казались они отдаленными, несколько чуждыми, условно родственными даже — ведь брат погиб в воздушном бою, взлетев с далекого аэродрома, защищая подступы к Ленинграду. Да, вот сам этот город был святыней! Невскую воду пила при мне, шестилетнем, мать Евдокия Ивановна, впервые приехав сюда и сойдя к речным волнам по гранитным ступеням. А далекий поселок где-то среди лесов, озер и валунов, видимо, так и оставался далеким.

ПАМЯТЬ О НИКОЛАЕ

К двадцатилетию Победы у станции Лемболово был воздвигнут памятник героическому экипажу, и для нашей семьи появилась на карте страны вторая святыня, в нескольких десятках километров севернее Ленинграда.



Помню, на открытие памятника меня из воинской части в Новомосковске Тульской области - непустили. Вот топорная работа, просто дуроломность политорганов, которая потом тоже сказалась на развале страны и армии. Должны были предписание выдать, торжественно проводить, а по возвращении встречу с сослуживцами устроить, чтобы с гордостью рассказал. Не думали о таком, уверовали в незыблемость политической системы, а она - не на догмах держится, а на живых людях.

После демобилизации я не раз побывал у монумента, описанного, помню, в поэме Олега Шестинского, но мысль о селении, лежащем где-то дальше памятника и носящем нашу фамилию, не давала мне покоя. И через много лет я поехал в Приозерск, чтобы отыскать Боброво. Может, и не знал я толком тогда ни про неперспективные населенные пункты, ни про укрупнение. Испокон веков жили там люди, так почему все должно было кончиться именно на странице с заголовком Боброво? — и вопроса такого не возникало.

В Приозерске меня разочаровали: этой заветной деревни больше не существовало — остались только квадраты могучих фундаментов, сложенных давным-давно из валунов. Так и уехал я тогда из райцентра расстроенный... А еще через несколько лет повез своего сына к памятнику дяде и решил снова проехать севернее Лемболова, порыбачить на Вуоксе. Добрались по асфальту до Громова — центра совхоза с многоэтажными домами, городскими магазинами, а дальше путь лежал на селение Портовое уже по грунтовой дороге, идущей по-над Вуоксой, стремящейся через озера к могучей Ладоге. Идем проселком и вдруг — указатель: «Бобровка». Видны следы фундаментов и остатки садов, которые сгреб бульдозер от дороги ближе к сосновому лесу. Но горечь от созерцания этой картины тут же улетучилась, потому что рядом все-таки стоит усадьба, громко говоря. Ну, подворье из двух скромных домов. Трудно что-нибудь определенное выяснить в этих краях, заново заселявшихся после войны выходцами из других областей страны. В доме живет вдова лесника Январева, который переехал из Ленинграда, выбрал для жительства это место и, по существу, возродил Бобровку уже с уменьшительным суффиксом. Но было это гораздо позже послевоенных лет...

В селе Портовое старейшая жительница его, тетя Поля, переехавшая еще в 1948 году из Владимирской области, долго вспоминала, но потом уверенно подтвердила, что еще застала деревню, которая стала вскоре зваться Боброво. В центре сельсовета, в Громе, мне рассказали, что еще несколько населенных пунктов в округе названо именами летчиков-героев. Вроде бы все сошлось, но все-таки я послал запрос в Ленинград и получил официальный ответ: да, это тот самый населенный пункт. Спасибо тебе, лесник Январев, чья душа осталась, по славянскому преданию, березкой в здешних лесах.

Значит, есть надежда, что сохранится название на земле, где были когда-то насажены стены еловых рядков, чтобы смирять северные ветры, чтобы плодоносили сады и ягодники, где на краю Портового остались над чистым ключом следы деревенского водопровода, а могучие бетонные доты, блиндажи и капониры в бору — зазубрины линии Маннергейма — напоминают о кратковременных, но грозных событиях, полыхнувших на этой суровой земле. Громовое, Бобровка, Портовое — в незабываемых теперь для меня, громких этих названиях ворочается грозное эхо. Мы ведь всегда думаем о будущем, верим и заглядываем в него. Хочется различить там, в туманной дымке, родную вежу и снова надеяться, что указатель у лесной дороги будет стоять прочно, как особо дорогой для меня дом в Москве, возле метро “Бауманская”, где была установлена мемориальная доска с именами тех, кто скрылся в метели тополиного пуха, исчез в зимних снегах и не вернулся, как брат, в тенистый московский двор. Я выступил на открытии памятного знака накануне 35-летия Победы, а через двадцать лет, снимая телеочерк о брате к очередной годовщине снятия блокады, поехал на Большую Почтовую, 18, но мемориальную доску найти не смог. Пошел в ДЭЗ, выяснил, что дом треснул, доска была повреждена и снята. Теперь — кто же ее восстановит? Да и дом первых пионеров заменят скоро на престижный новострой.

В соседней школе, пионерская дружина которой носила имя Николая Боброва, краеведческий музей был демонтирован, правда, стенд о брате в запасниках хранился, молодой директор для телесъемок снова водрузил его на стену, чтобы я встретился со школьникам. Хорошие ребята, хоть и пижонистые, местные или дети приезжих, работающих под крутыми — как же в центре столицы живут. Но еще можно и с ними о высоких гражданских материях говорить, пока еще не до конца отравлены они скепсисом и сознательно внушаемым всей пропагандистской мощью цинизмом и безверием.

После московских, опечаливших меня съемок поехал встречаться с ветеранами Солнечногорска на берегу озера Сенеж, о котором брат писал после майского парада 1941 года. Он был уверен, что летчики останутся в Москве хоть на день, и удастся повидать семью, любимую девушку. Но после парадного пролета и разворота над Замоскворечьем их направили на дозаправку и дальше — на свой базовый аэродром. Но сверкающий Сенеж он разглядел, вспомнил здешние рыбалки с отцом, сглотнул слезы и скупой написал об этом в одном из писем, хранящихся у меня... Я смотрел на майское взлохмаченное ветром озеро, отражавшее многие взоры, в том числе и восхищенные взгляды давно погибшего брата и ушедшего отца, и думал о том, что, может быть, только ощущение вечности природы и бренности каждого из нас, помогает сохранить и рукотворную, вещественную память. Трескаются стены и мемориальные доски, ветшает бумага писем, написанных часто карандашом, но все так же синее Сенеж и Лемболовское озеро. Вот если и они погибнут — Родина как живое существо умрет.

Здесь же, на берегу, читая отрывки из посланий брата перед телекамерой, я особо остро ощутил на холодном ветру, что предвоенные письма ничем не отличаются от писем самой трудной боевой поры, которые дышат тем же теплом, спокойствием и любовью к родителям. Да и к Родине, если вспомнить слова Блока, Николай относился как к родному, дышащему и страдающему существу, которое должен защищать лично, из последних сил.

«Ленфронт. Апрель 1942 г. Здравствуй, дорогая мамочка! Сегодня у меня радостный день: впервые за много месяцев получил от тебя известие — целых три письма. Если бы ты знала, как я все это время волновался за тебя: можно сказать, что сегодня ты для меня воскресла... Теперь я почувствовал себя счастливым.

У меня все в порядке. За десять месяцев войны много всего было. В доказательство того, что я тоже воюю, могу сообщить тебе, что в марте получил орден Красного знамени. Это так... Чтобы ты знала, что твой сын не хуже других защищает родную Россию.

Прости за краткость. Много писать разучился. Твой сын».

Вот так писал двадцатилетний стрелок-радист. Всего через два месяца во время шестидесяти седьмого боевого вылета его бомбардировщик при подавлении огневых точек врага получил прямое попадание в мотор и потерял управление. Экипаж летчиков-коммунистов принял решение не прыгать с парашютом: плен. Самолет вошел в крутое пикирование и рухнул в центр скопления вражеских батарей. Ведомые экипажи были свидетелями того, как до последнего мгновения не прерывал огня пулемет самого младшего из членов героического экипажа...

Николай погиб почти за три года до моего рождения. Мне сейчас на много лет больше, чем было тогда ему, но память и неотступные мысли о вечно старшем брате до сих пор помогают мне

в обретении и просветлении главного чувства солдата — чувства Родины. В связке полученных матерью писем военных лет хранится лишь одно пожелтевшее письмо со словами о подвиге: «...Посылаю Вам грамоту Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Вашему сыну звания Героя Советского Союза для хранения как память о сыне-герое, подвиг которого никогда не забудется нашим народом... М. Калинин». Все остальные письма — от Коли. В них почти ни слова о войне, трудностях, усталости.

Время самых тяжелых боев начальной поры войны совпало с тяжелыми годами испытаний для нашей семьи. Мать была разлучена с отцом и с оставшимися дома, в прифронтовой Москве, дочкой и сыном. Письма старшего сына связывали их всех друг с другом. Так получилось, что юный летчик, чьи сверстники в наше время порой еще только пытаются обрести самостоятельность, больше думал не о себе, ввергнутом в огонь войны, а о далеких близких. Не сам ждал поддержки, а стремился дать это другим.

«Я не умею, дорогая, красиво писать, о своих переживаниях, не умею выкладывать душу на бумаге, но поверь — мне невозможно привыкнуть к мысли, что ты будешь вынуждена терпеть такие лишения... А каково сознание невозможности помочь тебе? Помочь матери, которая сделала для меня все, что было в ее силах.

Но ничего! Помни, где бы ты ни была, какие бы огорчения не терпела, я душой всегда с тобой. Твое горе — мое горе, твои трудности — мои трудности.

Еще раз прошу тебя беречь свое здоровье, больше думать о счастливом будущем. А оно будет таким!»

Он воевал за это будущее и не был многословен, когда писал о себе: «У меня все по-старому. Жив, здоров, бодр». Только несколько слов об ордене. А тот бой в самом начале войны принес экипажу славу. Семь бомбардировщиков без истребителей прикрытия вступили в бой с двенадцатью «мессерами». Первым принял на себя атаку экипаж ведущего — капитана Алешина. Стрелок-радист Бобров, привязав к ноге люковый пулемет, вел бесприцельный обманный огонь, отпугивая гитлеровцев из-под хвостовой части, а из турельного вел — прицельный. Три вражеских истребителя были уничтожены экипажем. Весь полк побывал около машины, получившей более полусотни пробоин. Только на земле заметили, что пулей раздробило Коле правую часть шлемофона. Рваные следы пуль остались и на комбинезоне.

— В счастливой сорочке ты родился,— сказали тогда ему боевые друзья.

Мутноватая фотокарточка той поры. Молодой летчик в шлемофоне и комбинезоне у карты боевых действий. На обороте подпись: «Дорогой мамочке, увы, о самых тяжелых днях от горячо любящего сына». И снова уверен, не о своих фронтовых тяготах вспомнил он.

А вот письмо отцу, полное благодарности за дни, проведенные в лесах Подмосковья, за рассветы у чистых и рыбных тогда речек.

«У меня все по-старому. Особых новостей нет. Только вот весна действует. Как никогда, часто вспоминаю былые времена, наши бесконечные походы. Хорошие были дни! Так хочется их повторить. Это было бы настоящим счастьем».

Не дождался он этих счастливых дней. Не увиделся больше ни с родными, ни с первой своей любовью. Эта женщина - Ирина, ставшая художницей, заходила к нам в полуподвал на Кадашевской набережной, но не могла видеть меня без слез. Так часто бывает, что первый и последний сыновья внешне очень похожат друг на друга. А он ведь даже не узнал о моем существовании. Как странно: я боготворю своего старшего брата, все время говорю о нем,— а он ушел из жизни. Может, только поэтому я и появился на свет у немолодых уже родителей.

«Милый папаша, одновременно с твоим письмом получил письмо от мамы'. Вы словно сговорились: содержание писем почти одинаково, с той лишь разницей, что в твоём — речь о мамаше, а в её — о тебе. Так радостно от этого родства. Ты не можешь себе представить, как хорошо у меня на душе.

Только в одном вы оба одинаково неправы: в чересчур отрадном мнении обо мне, я его еще не заслужил, но постараюсь в будущем оправдать. Принимаю его как общие ваши пожелания. Жду от вас с нетерпением подробных писем. Они мне сейчас нужны больше, чем когда-либо. Не

смотрите на меня, что пишу мало (не хочу сказать — редко), ибо трудно передать переживания мои в размерах письма, допускаемого цензурой. По-моему, лучше — короче, чаще и правдивей».

Ответ на это письмо уже не застал адресата в живых...

Я редко достаю эти письма — сердце не выдерживает, не может вместить любви, бескорыстия, тревоги, льющихся с листков, торопливо исписанных карандашом. А еще почему-то они воспринимаются мною как укор за минуты собственной слабости, душевной лени, безответственности. Сколько ездил и ходил я по России, служил связистом, косвенно продолжив военную специальность старшего брата, прошел дорогами учений и маршей, учился, работал, а все мне кажется, что не достиг я еще той любви к Родине, той ясности мироощущения и самосознания, которая угадывается по письмам брата. Вот что он писал в девятнадцать лет брату и сестре, после довоенного, майского парада: *«Лидка и Толик! Не так давно я летал над вами, кричал по радио: «Толик, посмотри вверх! Махни флажком!» Ты слышал меня, Толик? А самолеты видел? Красиво или? Наш полк получил благодарность от наркома обороны за отличный строй. Вот что значит выучка и старание!*

Ну а чем вы сейчас занимаетесь, чему учитесь? Перед вами целая — жизнь, а для того, чтобы хорошо ее прожить, нужно много учиться, много работать. Все, что дается без труда,— не нужно, вредно, губительно».

...Близ станции Лемболов стоит памятник из серого гранита в окружении могучих, растрепанных ветрами сосен, крепко вросших в каменистую почву Карельского перешейка. На памятнике высечены головы трех летчиков в шлемофонах — Алешина, Гончарука, Боброва.

Бывая здесь, я всегда вспоминаю чеканные строки Александра Прокофьева: «Забудьте, что можно забыть, но храните: Россия стоит на граните! Запомните сердцем и стойте на том. Как есть на граните, на камне седом!»

Я запомнил.

ЛЮБИМАЯ БРАТА



На вечере в честь 9 мая в школе на Большом Почтовой улице, где был восстановлен музей моего старшего брата, разорённый в годы ельцинизма, я познакомился словно заново с Ириной Владимировной Старичковой, которую видел только в детстве. Она пригласила меня домой, чтобы показать письма брата и бережно хранимые святыни. Вот предвоенное письмо молодого асса:

«Приближается 1 мая, день свидания с Москвой. Хоть с высоты посмотреть на знаменательные места, улыбнуться в ответ на молчаливое их приветствие, упиться мыслью, что ты здесь рядом, почувствовать эту горькую близость... словом, посмотреть!

12 часов и самолет взвился в лазурное небо. Курс на Москву. Промелькнул город Калинин, Клин, начались исхоженные, знакомые места; сколько раз я посещал эти реки, озера, леса, сколько верст избродил по этим местам! Видно на 35-40 километров вперед. Глаза напряжены. Еще не долетели до Химок, а из молока тумана медленно вырисовывается профиль родного города, столицы дум моих, мечтаний, воспоминаний, желаний. Вот она, красавица! Полтора года не видел я тебя, не ходил по твоим улицам, не наслаждался твоей величавостью! Полтора года не пожал я руки ни одному из дорогих мне твоих жителей, не смотрел в их ласковые глаза. Теперь ты передо мной. Еще несколько минут, и первые твои улицы будут вихрем пролетать под моей машиной. Вот и стадион «Динамо», его трибуны пусты, еще рано, сейчас все – в центре. Взор жадно ищет знакомые кварталы. Вот и улица Горького. Ее широкая мостовая сплошь покрыта черными крапинками – это москвичи. А справа – Арбат, там институт; рядом ЦПКУО. И все – точно на ладони. Кругом посмотришь – конца края не видно. Далеко в синеватой дымке скрываются окраины. Велика ты Москва!

«Сейчас над Красной площадью появятся самолеты. Уже слышится рев моторов», - торжественно звучит радио, и мой самолет - над Историческим музеем, на площадь медленно, сонно ползут тяжелые, неуклюжие танки.

Вот и Красная, рядом – Кремль. На часах 13 часов 31 минута (это на моих, в машине). «Медленнее, медленнее, - просит голос внутри бессердечную машину, - Дай ухнуть величественным зрелищем любимого города, освещенного ласковыми лучами майского солнца».

Промелькнула лента Москвы-реки с серыми поясами мостов. Сейчас Кадаши, родной дом. Вот и он... Сколько и печальных, и радостных событий связано с виднеющейся внизу мизерной коробкой. Никогда она не была она так дорога (может быть, и не будет), как в эти считанные мгновения. Хочется увидеть родные лица... на память пришла мамаша. Бедная, ее лицо полно мук, оно неузнаваемо. Образ ее заслонил Москву! Где она?

Но вот снова взор устремлен вниз. Там – Подольск. А душа неспокойна, не удовлетворена: еще не сделано самое главное. И самолеты, послушные ее движению, разворачиваются на Москву, плывут над шоссе Энтузиастов. Вот и знакомые две вечно дымящие башни. Грудь готова разорваться – впереди, чуть левее самое дорогое – знакомая группа домов. Как хорошо она выделяется с воздуха! Там Иринка, там ты... Понимаешь мое состояние?

Какие-нибудь 3-4 километра разделяют нас. Хочется кричать: «Люблю! Слышишь, - люблю!» А снизу слышится: «Да! Тоже!»... Передо мною ты, я отчетливо вижу твои глаза, полные радостных слез, и чем дальше уносят меня самолеты, тем печальнее становится твой взор, и слезы радости превращаются в слезы горя.

Нет, мое перо бессильно перед величием переживаний и чувств, охвативших всё моё существо... Еще несколько кругов над противоположной оконечностью Москвы, и самолеты садятся на... на Центральный аэродром. Около двух часов я дышал одним воздухом с тобою, наслаждался этой мыслью, а голова шумела, напряженно переваривая всё виденное и пережитое, впивая его навеки. Я не имел возможности даже позвонить по телефону, вообще отойти от машины. Каждую минуту могли вылететь, да и одежда не позволяла (она у нас одна и зимой, и летом). Не хотелось прощаться с родиной, тянуло туда, в сердце ее. Но...Прощальный круг, и прощай Москва. Может быть, надолго, но... не навсегда! Мы еще увидимся!»

Это яркое описание полета над Москвой и Москвою-рекой - из письма моего двадцатилетнего старшего брата, сталинского сокола Николая Боброва, экипаж которого принимал участие в Первомайском параде 1941 года. Недавний студент Института тонких химических технологий, талантливый певец, настоящий москвич, он больше года ждал этого свидания с родной Москвой, с любимым адресатом – одноклассницей Ириной Старичковой. Увы, местом подготовкой к параду стала не столица с аэродромом в Тушино, а Калинин. Над Москвой и Красной площадью был только этот – панорамно описанный пролет. Экипаж вернулся в Старую Руссу, а увиделись Коля и Ирина через три месяца, когда с началом войны летчиков через Москву-товарную перебрасывали на новое место базирования. Москвичей отпустили на ночь. Дома, в Замоскворечье, никого не было: мамаша оставалась в местах не столь отдаленных (не близко – в Свердловской области), отец с братом и сестрой эвакуировались. Коля переночевал у родителей Ирины и уехал на фронт.

Ирина Владимировна недавно, после своего 85-летнего юбилея, передала мне пожелтевшую газету «Правда» (четверг, 11 февраля 1943 года) с официальным указом Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему и рядовому составу, где есть и фамилия Боброва. Такой газеты, как и этого письма, конечно, начинающегося

с интимных признаний – в моем архиве не было. Мы встретились с маленькой сухонькой женщиной, художником и преподавательницей МАДИ в ее небольшой квартире на Щелковском. Она перебирает письма Коли и рассуждает вслух:

«Почему мы ссорились, ревновали, выясняли отношения на пустом месте? Столько нервов и времени потеряли. Ведь на ровном месте, как коленка, ровном... Вот он пишет 17 декабря 1940 года, что его как отличника не отправили в глушь, а оставили после школы стрелков-радивистов в Старой Руссе, в лучшем авиаполку, который всегда открывает парад на Красной площади. Пишет: «Одной мыслью одержим, что увижу тебя, обниму крепко. Ведь всего полгода до майского парада осталось – недолго, если учесть, что мы год не виделись». А вот добавление, - улыбается, как на ребячество Ирина Владимировна: «Если, конечно, мне замена не найдется»...

- Это еще со школы началось. Целая пачка записок хранится. Одна на узкой полоске бумаги: «Дай мне надеяться, что ты меня когда-нибудь полюбишь». А я уже сидела рядом и ничего не слышала на уроке. Нас даже рассадил – не до уроков было...

Он придумывал для меня монограмму, этикетки вензеля из начальных букв моего имени: ИВС – Ирина Владимировна Старичкова. На доске эту монограмму писал, на парте, на всех листах учебных. А ведь инициалы-то совпадали с самыми знаменитыми: Иосиф Виссарионович Сталин. В школе забеспокоились, даже маму вызвали: что, мол, за инициалы Бобров кругом оставляет? Она усмехалась: «А вы что инициалы его одноклассницы не знаете?».

Брала уроки музыки только для того, чтобы аккомпанировать Николаю. Он пел, обладал басом. Да таким, что бас Марк Рейзен обещал его после школы взять в свой класс. Одноклассник, которого отец от армии и фронта «откосил», как выразилась по-современному Ирина Владимировна, через 60 лет стихи даже трогательные написал, как Бобров поет романс Глинки «Сомнение», а Старичкова ему аккомпанирует.

- Переполнены друг другом были, хотели взаимопроникновения, а это и ведет к вспышкам ревности, смене настроения. Сегодня у большинства отношения ровнее и проще потому, что всем наплевать друг на друга даже в интимных отношениях... Ходили в кинотеатр – «3-го Интернационала» назывался, на Бакунинской улице. Там у нас любимые места были – в углу на последнем ряду. Как свет погаснет – он меня обнимет полкой пиджака и – никакого фильма не видим. У меня ведь рост был 156 сантиметров во взрослые годы, а у него уже тогда – 184. Накроет полкой – я и пропала. (Она засмущалась по-девичьи). А еще у нас скамеечка была заветная в Лефортовском парке. Мы там на лодке катались, а потом шли в этот укромный угол, где нам никто не мешал обниматься.

Ирина Владимировна долго перебирала тщательно подписанные письма и записки (когда, откуда, в связи с чем) и скромные реликвии. Их совсем немного.

- Вот этот портсигар из соломки Коля подарил мне перед самым уходом в армию. Не знал, что оставить на память, протянул: «Храни в нем мои записки». Потом, когда ваша мама пришла к нам в квартиру, увидела его у меня на тумбочке: «А я думаю: куда это моя папиросница девалась?». Я предложила Евдокии Ивановне вернуть портсигар, но она решительно возразила: «Нет, раз Коля подарил – пусть останется у тебя...».

Видите картонку с картинкой рыбака и золотой рыбки. Эту коробку духов мне подарил Коля на последний день рождения перед уходом в армию. Флакон тоже сохранился, - засеменила к тумбочке, достала круглый флакон, - домашние в него йод налили. Ну и я до сих пор в нем йод держу.

А вот этот вензель из твердой проволоки «Ира» с завитушками он сам сделал. Вот его рисунки в альбоме: цветы, Мельник из оперы, партию которого он любил петь. Видите, какая твердая рука?

Ну и главная святыня – завиток, который я у него отстригла перед уходом. Волосы не выцвели - он и был таким - настоящим блондином, а цвет глаз – не передать: ясно-зеленые... Отдаю это вам. Не протестуйте! – умру, всё ведь выкинут на помойку. Кому это, кроме нас, нужно? Письма разберу, что-то вам отдам, не глубоко личные, а с рассуждениями о жизни, об искусстве. О войне писать – нельзя было. Остальные попрошу положить в гроб. Пусть сгорят вместе со мной!..

И в этот момент сухонькая седая женщина, смущенно улыбающаяся при рассказах о самом нежном и памятном в ее юности, вдруг сверкнула выцветшими глазами и решительно сжала кулачок, обнаружив характер, который помогает русской женщине выдюжить страшные испытания, но ни от чего не отрекаться.

ТЕНИ БЕЛЫХ НОЧЕЙ

В белые ночи повёз сына и внука в Питер. Пора – выросли. Помню, поэт фронтового поколения Марк Максимов дал удачное определение этой призрачной поро: «Белая ночь – это чуть-чуть, вставшее на дыбы». Да, всегда Ленинград немного, порой неуловимо отличался от Москвы, но иногда это «чуть-чуть» становилось на дыбы, высвечивалось не истаивающим светом или перечеркивалось неожиданными тенями. Родились, конечно, заметки не только о Лемболовской твердыне и о брате, но и о современном Санкт-Петербурге.

Когда-то я писал о городе на Неве, сохраняющем свою относительную компактность:

*Громаден город Ленинград,
Но в беге торопливом
Счастливо Ладогой зажат
И Балтики заливом.*

Теперь преград нет – на Финском заливе, например, намывается песок, а на сваях строят огромные микрорайоны. В том числе, возводится и чайна-таун, что чревато для любого города дурными последствиями, но деньги, пусть и китайские – сегодня решают всё.

И сами ленинградцы, и понимающие москвичи ценили всегда то, что Ленинград был ближе к спасительной природе, чем огромная Москва с ее размытыми границами и городами-спутниками. Теперь и это преимущество ближних зеленых пригородов стремительно тает, как кавголовский и парголовский снег, под напором горячих денег. По всем дорогам – интенсивное строительство. Поехали на Карельский перешеек – кругом щиты-объявления о коттеджных поселках, дальше – строительные площадки вместо сведенных рощ. В Лемболово, где стоит памятник моему старшему брату, в сосняке между Приозерским шоссе и Лемболовским озером, было множество скромных пионерских лагерей и доступных баз отдыха. Теперь вдоль разбитой дороги пейзаж таков: слева заколоченные, разрушающиеся очаги здоровья для тысяч, справа уже начинают выситься огромные коричневые заборы с могучими особняками для избранных или строительными кранами. Кажется, хоть этому можно порадоваться – идет строительство. Но как и для кого? А ведь здесь звучали детские голоса, проходили пионерские линейки у памятника, туристы любили приезжать на Лемболовское озеро. Теперь здесь – заурядный дачный район. Украденную когда-то бронзовую звезду Героя заменили аляпоматой красной – алюминиевой, наверное. Но всё-таки, конечно, несмотря на стремительные перемены к худшему эта земля, этот город с тенями белых ночей остаются для меня святыми.

* * *

Население страны (сказать: народ – уже язык не поворачивается) страшно разобщено, социально и нравственно расколото. На каналах и болотах Питера тоже остаётся все меньше почвы для реального объединения. Последний такой пятачок – общественное движение подлинных патриотов и интеллигентов, борьба за сохранение облика города. Имеется в виду не только объединение «Живой город», но и другие общественные силы, включая коммунистов города, которые борются с преступным вторжением чистогана и бескультурия в святая святых города на Неве.

Беру подборку стихов участников литобъединения «Клязьма» из Долгопрудного, читаю стихи Натальи Виноградовой «Объяснение в любви»: «Снова тянет к тебе, я скучаю безумно. Я хочу тебя видеть, нет сил дольше ждать...» и думаю о силе женской страсти, но вдруг концовка:

*Ты замёрзшую душу, претерпевающую беды,
Отогреешь быстрее, чем солнечный юг.
Я приеду к тебе, очень скоро приеду,
Мой любимый,
Мой вечный,
Мой Санкт-Петербург.*

Да, Наталья, любимый Петербург-Ленинград казался нам вечным. Под напором шальных денег дрогнул и он. Причем, многие спохватываются, когда уже поздно что-то изменить. Например, еще два года назад сведущие люди предрекали: то, что строится на Васильевском острове рядом с ДК имени Кирова, – настоящая культурная катастрофа для города. Два новых высотных здания, быть может, и терпимы сами по себе, но ужасающе несомасштабны окружающей застройке. И видны они будут далеко за пределами Васильевского – с Троицкого и Литейного мостов, например. Но обывателям – как обычно – верилось в лучшее, в то, что критики

сильно преувеличивают размер бедствия. Мол, ни у кого не поднимется рука на всемирно известную панораму невисской акватории. А накануне моего приезда содеянное вдруг всколыхнуло широкую общественность. Сразу в нескольких газетах и на Интернет-сайтах появились фотоснимки Стрелки Васильевского острова, сделанные с Литейного моста, а потом вокруг этих снимков развернулась целая запоздалая дискуссия. Махание кулаками после драки продолжается и до сих пор. Причем участие в нём приняли уже сотни людей. А еще многие тысячи петербуржцев, хоть и не стали публично высказываться по поводу увиденного, но схватились за сердце точно так же, как и борцы за сохранение города. Фотографии со всей наглядностью показали: классический вид с Троицкого и Литейного мостов на Стрелку сегодня изувечен. Тот строгий и стройный вид, которым восхищался еще Александр Дюма, попоран и осквернен. Прославленный француз, который побывал во всех столицах Европы, был однажды гостем Петербурга и в полной мере оценил красоту северной столицы. А про вид с Троицкого моста на Стрелку высказался в романе «Учитель фехтования» так: «Не знаю, есть ли в мире вид, который мог бы сравниться с развернувшейся перед моими глазами панорамой». Случившаяся беда – очевидное следствие непрофессионализма или равнодушия тех, кто отвечает в городе за архитектурный процесс. Главный архитектор Александр Викторов, похоже, и сегодня считает, что все обстоит благополучно. Интернет-газета «Фонтанка.ру» привела такой его комментарий, связанный с нашумевшими снимками Стрелки: «Вы не с тех точек смотрите на Васильевский остров... Нужно смотреть панораму с установленных видовых точек, например с Дворцовой набережной. Оттуда вы ничего такого не увидите – вид ничем не нарушен». Вот такое объяснение, Наталья. Приедете, обуянные любовью, охладите свой пыл и глядите «с установленных видовых точек». И под присмотром опытных экскурсоводов, натурально. А в недавнем интервью московской газете «Время новостей» г-н архитектор разъяснил: «Это в XIX веке Акакий Акакиевич пешочком ходил по Петербургу. И ориентировался в тумане на шпиль Адмиралтейства или Петропавловской крепости. Теперь другие ориентиры».

Ох, как убийственно точно: теперь в городе бывшего комсомольского и советского вожака Валентины Матвиенко – другие ориентиры: золотой телец прежде всего, который мерцает сквозь сумрак белых ночей. Похоже, и «Газпром» продавливает свой 300-метровый «початок». Уже и депутаты, бывшие резко против, начинают говорить: да ладно, Смольный – далеко, а благодетель Миллер обещал за это - разрушающийся район пятиэтажек застроить. А так может плюнуть из-за несговорчивости населения – где деньги брать на реконструкцию? Встречный вопрос: а где брали деньги на всё вышеперечисленное – от форума и яхты Абрамовича до балов и высоток на намывном песке?

Главное: где брала деньги Советская власть, когда опоясала нетронутый исторический город кольцами новостроек? Вот какой вопрос надо почаще себе задавать перед всеми выборами, политическими и гражданскими. А всё-таки, по большому счёту, в этой борьбе за сохранение облика великого города – единственное отличие Москвы и Петербурга. Москвичи (где они? – на улицах сплошь приезжие, кавказцев и азиатов, кстати, разительно больше, чем в Питере!) смирились с фактической гибелью матушки-Москвы: не осталось ни единой исторической улицы или даже переулочка. Последний островок на Хитровке, на Ивановской горке с монастырем, собираются уничтожить возведением очередного офисного монстра. Редкие всплески общественного протеста возникают только тогда, когда жареный петух клонет, когда точечная застройка касается кого-то лично, с выселением, со стройкой под окнами, на детской площадке своего ребенка, а на весь город – плевать.

Повторяю, москвичи, сдались, купились, скурвились, а петербуржцы в лучшей своей части - борются за весь родной город. И эта борьба шире архитектурно-эстетического противостояния – это держат свой невиский пятак остатки народовластия и подлинно гражданского общества, побеждая горением уродливые тени и мороки белых ночей.

Вот такие впечатления от Города-героя, за который пал мой старший брат. Но в душе у меня снова звучит «Зимняя песня»:

*Мой Ленинград, мой Петроград, мой Петербург,
Ты красотою все контрасты пересилил,
В тебе парят шедевры Росси, а вокруг
Царят снега проселочной России.*

*Мой Петербург, мой Петроград, мой Ленинград,
Я так ценю твои державные объятия!*

*За этот город пал мой старший брат,
И потому мне ленинградцы - братья...*
Настоящие ленинградцы, конечно.

ОБ АВТОРЕ:

Поэт и публицист **Александр Бобров** - автор сайта «Отчизна». Выпустил около 30 книг стихов, песен, фольклора, прозы. Среди них познавательные книги: 2-х томник «Московия», «Русский месяцеслов на все времена», «Лечебные грязи и целительные источники», «Московская частушка», Москва-река от истока до устья», «По рекам Московии», «Серебряный век Подмосковья». Кандидат филологических наук, секретарь правления Союза писателей России, член-корреспондент Академии поэзии, лауреат премии имени Дмитрия Кедрина «Зодчий», премии им. Алексея Фатьянова «Соловьи, соловьи...», премия «Имперская культура».